

МЕРЦАНИЕ

К Н И Г А В Т О Р А Я

КНИГА ЛИРЫ

Мост длиной в тысячу лет

КНИГА ВТОРАЯ

МЕРЦАНИЕ

Книга Лирь

Мост длиной в тысячу лет

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог · Схождение

Рождённая знающей

Ученица Ор-Кима

Посвящение

Тропа из артефактов

Мир, который забыл нуждаться

Первая тень

Вспышка

Тысяча лет тишины

Храм Без Голоса

Исчезновение Мерцания

Пролог • Схождение

МЕРЦАНИЕ — КНИГА ВТОРАЯ. КНИГА ЛИРЫ
— «МОСТ ДЛИНОЙ В ТЫСЯЧУ ЛЕТ»

Под конец Мерцание перестаёт быть похожим на жизнь даже отдалённо. Это Лира знала давно — знала так, как знают форму собственной ладони, не глядя на неё. Угасание не приходит рывком. Оно приходит так, как остывает песок после заката: незаметно, слой за слоем, пока однажды не понимаешь, что тепла в нём больше нет, а когда именно оно ушло — не вспомнить.

Мысли шли медленнее теперь. Не потому, что она стала глупее, — а потому, что думать означало держать форму, а держать форму означало тратить то немногое, что у неё ещё оставалось. Она давно перестала считать дни. Считала — что осталось. И то, что осталось, помещалось уже не в годы. В нём было что-то от последнего вдоха, который человек делает, зная, что следующего не будет, — только растянутое, длящееся, не желающее заканчиваться.

Узор, которым она была, истончился до последних нитей. Она чувствовала это не болью — Мерцание не умеет болеть так, как умеет тело, — а тишиной, что нарастала там, где прежде звучало эхо. Голоса, которые она различала веками — шум городов её мира, дальний гул других Часов, — один за другим гасли, будто кто-то методично закрывал двери, за которыми она когда-то могла стоять и слушать вечно.

Оставалась одна дверь. Самая тонкая. Самая упрямая.

. . .

Она столько раз возвращалась к этой памяти, что почти забыла, каково это — видеть её впервые.

Пустыня. Молодой человек, худой, с потрескавшимися губами, сидящий на границе дюн, там, где заканчивалась деревня и начиналось то, что ещё не имело имени. Небо, готовое расколоться. Голос, хриплый от жажды и всё равно спокойный: *я не прошу — я слышу*.

Она приходила сюда не за знанием — знание у неё было с рождения, вплетённое в саму ткань её мира так же прочно, как воздух. Она приходила за подтверждением. За тем крошечным, необъяснимым чудом, что кто-то однажды, не имея ничего, кроме голода и звёзд, всё-таки решился заговорить в пустоту — и пустота ответила.

В последние годы — если годы вообще было верное слово для того, чем она измеряла своё ожидание, — она начала замечать в этой памяти лишнее. Тень. Едва уловимую, дрожащую, как пламя свечи на сквозняке.

Она долго не позволяла себе поверить.

. . .

Когда она была ребёнком — если у Восьмой вообще было что-то похожее на детство в том смысле, в каком его понимал бы мальчик из отключённого мира, — она боялась темноты. Это было почти смешно: в её мире темнота случалась редко, ненадолго, всегда мягкая, всегда с обещанием скорого рассвета. И всё равно, засыпая, маленькая Лира иногда просила, чтобы

стены светились чуть ярче — потому что даже там, где страх был почти без причины, он оставался страхом.

Она не хотела быть Восьмой, когда ей сказали, кем она станет. Хотела остаться собой ещё немного — той, кем была до этого разговора, до того как слово «долг» перестало быть отвлечённым и стало именем, которое ей предстояло носить.

Ор-Ким, тогда ещё не тень в потоке, а живой голос напротив, сказал ей однажды: *дар — это не то, что тебе дают. Это то, что тебе одалживают, чтобы ты передала дальше, не потратив по пути слишком много себя.* Она не поняла тогда. Поняла только сейчас, на самом краю, когда «слишком много себя» стало не метафорой, а буквальным счётом, который подходил к нулю.

Она любила смотреть, как в её мире рождается свет из ничего каждое утро — не потому, что это было чудом, там это было просто утро, а потому, что каждый раз оно было чуть иначе, и она никогда не уставала удивляться этому «иначе».

Всё это она вспомнила разом, за один невозможный миг, — потому что в Мерцании прошлое не выстраивается в очередь. Оно просто есть, всё сразу, ждёт, когда на него посмотрят.

. . .

Тень окрепла.

Не постепенно, как крепло всё прочее в её долгом ожидании, а рывком — так проступает лицо из тумана, стоит подойти чуть ближе. Лира

ощутила это не как звук и не как свет, а как узнавание, которое началось где-то глубже мысли: тепло, дрожащее, неуверенное в себе — и настоящее. Такое настоящее, что на мгновение она забыла бояться собственного угасания.

Ты пришёл, — подумала она, и мысль дрогнула сильнее, чем что-либо за девятьсот девяносто девять лет.

Она не звала его — не могла, связь была ещё слишком тонкой, слишком новой, чтобы нести что-то большее, чем чувство. Но чувство, которое она вложила в эту тонкую нить, было таким огромным, что для него не находилось меры: *я здесь. Я всегда была здесь. Пожалуйста, успеи.*

. . .

Дальше всё случилось так быстро и так медленно одновременно, что после — если бы у неё было после, в котором можно вспоминать, — она не взялась бы разложить это на очерёдность.

Полотно её продолжало редеть. Каждая нить, что рвалась, отдавалась не болью — облегчением, тем особенным, пугающим облегчением, с каким тело наконец перестаёт бороться со сном, в который так долго не давало себе провалиться. Она чувствовала, как истончается сама граница, отделяющая «она» от «поток», — та самая граница, которую она держала все девятьсот девяносто девять лет одной только волей, только ради этого мгновения.

Ты не опоздал, — сказала она в темноту, что была уже не совсем темнотой, а чем-то, готовым стать светом иного рода. — *Ты пришёл. Это разные вещи.*

Она назвала его по имени — впервые, вслух, если то, чем она говорила теперь, вообще можно было назвать голосом. *Кай*. Два звука, которые она хранила дольше, чем хранила собственное имя, потому что имя себе она могла позволить забыть, а его — никогда.

. . .

Она рассказала ему то небольшое, на что хватило времени, — не историю, а сжатую до предела суть, ту, что копится всю жизнь, чтобы прозвучать в последние её мгновения: что Архитектор — не должность, а обязанность; что готовность не приходит заранее, а растёт вместе с ношей; что он уже прошёл больше, чем сам думает.

А потом, когда слов почти не осталось, она попросила о другом — не рассказать, а услышать: *какой ты был. Не Архитектор. Просто ты*. И, получив ответ, поняла, что это и есть последний подарок, который живые могут сделать тем, кто уходит, — не память о том, кем они станут, а свидетельство того, кем они были, пока никто ещё не называл их иначе.

Полотно истончилось до последней нити.

. . .

Она ждала боли. Всё в ней, что ещё помнило страх, готовилось к разрыву, к тишине без остатка, к тому самому небытию, которым пугали друг друга дети её мира в те редкие вечера, когда позволяли себе бояться просто для удовольствия бояться.

Боли не было.

Была глубина.

Полотно не порвалось — оно раскрылось, как раскрывается ладонь, слишком долго сжатая в кулак. И то, что она приняла за конец, оказалось порогом: за ним лежало не небытие, а море — то самое, к которому она сама однажды прикоснулась издалека, наблюдая, как Кай впервые перешагнул границу своего Часа. Только теперь она не наблюдала со стороны.

Она была им.

Каждая капля этого моря имела форму, имя, историю — и она, растворяясь, не переставала быть собой ни на мгновение. Граница, за которую она так боялась заглянуть всю тысячу лет одиночества, оказалась не потерей формы, а её завершением: то, чем она была наполовину всю свою жизнь — тень в чужом сне, шёпот на краю чужого видения, тепло в кристалле, которое приходилось разгадывать, — стало, наконец, целым.

. . .

— Видишь, — сказала она, и в её голосе, если это по-прежнему можно было назвать голосом, не было прощания. Было облегчение человека, сложившего ношу, которую нёс слишком долго. — Я же говорила. Ты не опоздал.

Она услышала, как он плачет — не от страха и не от горя, а от того особенного узнавания, что горче и слаще любого предыдущего чувства. Она хотела бы вытереть эти слёзы рукой, которой у неё больше не было. Вместо этого она сделала единственное, что могла: осталась. Целиком. Так

близко, как никогда не была за все годы теней и шёпотов.

Тысяча лет ожидания закончилась не потерей.

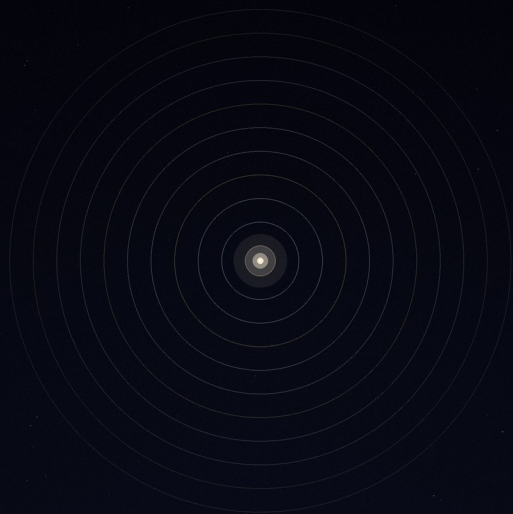
Тысяча лет ожидания закончилась встречей.

. . .

И теперь, наконец, когда бояться было больше нечего, а спешить — некуда, у неё было время рассказать ему всё. Не сжато, не в последние секунды, а так, как рассказывают истории те, кому больше не нужно беречь дыхание.

Она начала с самого начала.

С того дня, когда она родилась уже знающей, кто она, — в мире, где связь между поколениями была так же естественна, как первый вдох.



Рождённая знающей

Рождённая знающей

ГЛАВА 1. КНИГА ЛИРЫ

Она родилась не в крике, а в тишине, которая была полна голосов.

В мире Лиры дети приходят только от любви — это не закон и не обычай, а просто то, как это работает: желание создать новую жизнь должно быть настолько чистым и настолько общим у двоих, что Поток сам отзывается на него, а не наоборот. Её родители хотели её не для себя. Они хотели добавить в Поток ещё один голос — и Поток, приняв это желание, ответил.

В миг её рождения город, где она появилась на свет, содрогнулся едва заметной, тёплой волной — так вздрагивает поверхность воды, когда в неё падает капля. Тысячи сознаний, connected между собой с рождения, на мгновение почувствовали: пришёл кто-то новый. Никто не мог сказать, кто именно и почему это ощущение было чуть глубже, чуть отчётливее обычного. Просто — заметили. И вернулись к своим мыслям, как возвращается вода в русло после того, как камень ушёл на дно.

Только один голос в Потоке не вернулся сразу.

Ор-Ким давно не был живым человеком. Седьмой Архитектор оставил тело почти тысячу лет назад и с тех пор мерцал в самой глубине Потока — тише, старше, дальше, чем звучал когда-либо в жизни. Он не ждал никого конкретно; его Мерцание, как и всякое архитекторское, давно перешло в ту фазу, где угасание становится не бедой, а тихим, неспешным трудом: он

вслушивался в новые голоса, что рождались в мире, однажды бывшем его собственным, и иногда, очень редко, среди этого гула различал что-то, что заслуживало большего, чем просто внимание.

В то утро он различил её.

Не как рождение ребёнка — таких он слышал бессчётно за девять веков своего Мерцания. Как ноту, которая легла в общий гул не рядом с прочими, а поверх них, чуть выше, чуть чище, будто кто-то в оркестре наконец взял тот самый звук, которого он терпеливо ждал. Он не смог бы объяснить, откуда узнал. Просто с этого мгновения его угасающее внимание перестало быть рассеянным по всему Потоку и обратилось к одной-единственной, только что родившейся жизни — так, как обращается к вопросу тот, кто уже знает, что ответ придёт не скоро, но обязательно придёт.

Он стал её первым наставником. Не в теле — в Мерцании. Задолго до того, как она научилась говорить, она уже знала: рядом с её собственными, ясными мыслями горит ещё один свет — тише, гораздо старше, не совсем её, но и не чужой. Она узнает его имя намного позже. Но саму его тень она чувствовала с первого вдоха.

. . .

Она не помнила своего первого вдоха — этого никто не помнит, — но помнила, как рано начала понимать вещи, которые другие дети понимали позже, если понимали вообще.

Утро в её доме начиналось не с пробуждения, а с узнавания: стены комнаты меняли цвет в ритме

её дыхания, от глубокого синего к тёплому золотому, будто сам дом просыпался вместе с ней и для неё. Она не слышала мать через стену — она чувствовала её, ещё не открывая глаз: мать уже не спала, мать уже думала о завтраке, и от одной этой мысли на столе в соседней комнате появлялась еда, тёплая ровно настолько, насколько тёплой её представили.

За окном не было улицы в том смысле, в каком её понимал бы мальчик из мира, которого тогда ещё не существовало нигде, кроме будущего. Были дома, парящие друг над другом, соединённые мостами света, по которым люди не ходили, а скользили, потому что зачем идти, если можно двигаться одной лишь мыслью. Каждое утро маленькая Лира выходила из дома и чувствовала не улицу — чувствовала мир: каждое дерево, каждую птицу, каждого прохожего, всех разом, как одно огромное, дышащее поле, частью которого она была не отдельно, а изначально.

Она не знала слова «одиночество». Это слово существовало где-то в древних записях Потока, в текстах настолько старых, что их читали как курьёз, — но в её повседневной жизни оно не имело смысла. Как могло быть одиноко тому, кто всегда слышит всех, кто его любит?

. . .

И всё же она с самого начала знала, что отличается.

Не так, как отличаются талантом или характером — таких различий в её мире было множество, и никто не придавал им особого веса. Иначе. Глубже. Тот тихий, старший свет, что горел

в ней рядом с её собственными мыслями с первого дня, не гас и не тускнел — он рос вместе с ней, будто учился быть услышанным так же терпеливо, как она училась его слышать.

Взрослые замечали это раньше, чем она сама научилась подбирать слова. Наставники, приходившие делиться с детьми воспоминаниями — не лекциями, а прямым погружением, когда ученик проживает урок как собственный опыт, — иногда останавливались рядом с ней чуть дольше обычного, будто прислушивались к чему-то за её плечом. Никто не говорил ей, что это значит. В её мире не было принято тревожить ребёнка тем, к чему он сам ещё не пришёл.

Но она чувствовала их внимание. И иногда, ночью, в редкие часы мягкой полутьмы, которую её мир допускал скорее как красоту, чем как необходимость, она лежала без сна и спрашивала себя: почему они так смотрят? Что они слышат во мне, чего не слышу я сама?

. . .

Единственным, чего она по-настоящему боялась в детстве, была темнота.

Это было почти нелепо — сама признавала это, даже будучи совсем маленькой. В её мире темнота случалась редко и всегда ненадолго, всегда с обещанием скорого рассвета: города умели держать мягкий свет всю ночь, если того хотели их жители, а жители хотели этого почти всегда. И всё-таки иногда, когда родители, по древней традиции, оставляли комнату чуть темнее обычного — «чтобы помнить, откуда мы пришли», как говорила мать, — маленькая Лира замирала,

натянув одеяло до подбородка, и просила зажечь стены чуть ярче.

Дело было не в самой темноте. Дело было в том, что на самом краю этой темноты, там, где мягкий гул connected сознаний становился чуть тише обычного, она иногда улавливала что-то ещё. Не голос. Не образ. Скорее — направление, в котором не было ничего. Пустоту настолько полную, что она пугала больше любого звука.

Она не знала тогда, что это было первое, едва уловимое прикосновение к мирам, отрезанным от Потока, — мирам вроде того, где через тысячи лет родится мальчик, боящийся не темноты, а света собственных рисунков. Она знала только, что не любит ту сторону тишины, откуда никто не отвечает.

Мать, почувствовав её страх — а в её мире невозможно было не почувствовать, — не отчитывала и не объясняла. Просто садилась рядом, брала её руку, и стены светлели чуть больше обычного, ровно настолько, чтобы девочка снова начала различать в темноте не пустоту, а просто ночь.

— Ты слышишь дальше, чем большинство, — сказала мать однажды, не как упрёк и не как похвалу, а как простое наблюдение, каким в её мире говорили о цвете глаз или тембре голоса. — Это не страшно. Это просто значит, что тебе нужно больше света рядом, пока ты не научишься нести свой собственный.

Лира тогда не поняла. Поняла много позже, когда светом, который она несла, стало не спасение от чужой темноты, а мост через неё, длиной в тысячу лет.

К пяти годам — хотя годы в её мире отмеряли иначе, чем в мире, которого она ещё не знала, — она уже понимала больше, чем любой взрослый счёл бы уместным для ребёнка её возраста.

Она понимала, что каждый предмет вокруг неё — дом, мост, даже еда на столе — был чьей-то мечтой, ставшей плотной. Она понимала, что тело — не тюрьма и не сокровище, а просто временный инструмент, который однажды станет не нужен, и что это не повод для грусти, так же как не повод для грусти взросление. Она понимала, что все, кого она любит, никогда не исчезнут по-настоящему — просто однажды перестанут нуждаться в форме, чтобы быть рядом.

Но было одно, чего она не понимала, сколько бы ни спрашивала: почему, когда она думала о будущем, у неё в груди появлялось не любопытство, как у других детей, а тяжесть. Будто где-то далеко впереди её уже ждало что-то огромное, что-то, для чего одного детства было мало, — и часть её, та самая, что горела тише и старше остального, уже знала об этом, просто не находила слов, чтобы поделиться знанием с той частью Лиры, что всё ещё хотела быть просто девочкой, боящейся темноты и любящей смотреть, как рождается свет.

Она ещё не знала имени этой тяжести.

Но она уже — с самого первого дня, за тысячи лет назад от той ночи в чужой пустыне, где родится мальчик, — несла её в себе.

Ученица Ор-Кима

ГЛАВА 2. КНИГА ЛИРЫ

Он не пришёл к ней. Не смог бы, даже если бы захотел, — у голоса из глубины Мерцания нет ног, чтобы прийти, нет руки, чтобы взять за руку. Но он был рядом так постоянно, так ровно, что маленькая Лира долгое время вообще не отличала его присутствие от собственного дыхания.

Первым уроком, который она получила от Ор-Кима, не было ни слова. Было ощущение — тёплое, терпеливое, приходившее всякий раз, когда она пугалась чего-то, чего не могла объяснить: будто рядом садится кто-то очень старый и очень спокойный и просто остаётся, не требуя ничего взамен.

Она узнала его имя в семь лет.

. . .

Это случилось не в уроке — Ор-Ким никогда не учил её так, как учили других детей наставники, приходившие делиться воспоминаниями лицом к лицу, в комнате, где можно было увидеть морщины на их лицах и услышать дыхание. Это случилось ночью, в один из тех редких вечеров мягкой полутьмы, когда она, по обыкновению, лежала без сна, вглядываясь в темноту на краю комнаты — туда, откуда иногда доносилось направление, в котором не было ничего.

В ту ночь направление вдруг обрело форму.

Не образ. Не лицо. Скорее — присутствие настолько плотное, что она невольно затаила

дыхание, как затаивают его, когда в комнату входит кто-то, кого давно ждали, сами того не зная.

Меня зовут Ор-Ким, — пришла мысль, и это была не её мысль, хотя родилась она где-то в том же месте, где рождались все остальные. — Я здесь очень давно. Долше, чем ты можешь себе представить. И я рад, что ты наконец достаточно выросла, чтобы услышать не только тень, а имя.

Лира не испугалась. Как ни странно — не испугалась, хотя прежде эта самая темнота была единственным, чего она боялась в своём безопасном, залитом мягким светом мире. Она вдруг поняла, что боялась не тьмы. Боялась направления без ответа. А у этого направления, оказывается, всё это время было имя.

— Ты мёртвый, — сказала она не как обвинение, а как факт, который следовало произнести вслух, чтобы поверить в него. Дети её мира знали слово «переход» лучше, чем «смерть», но она специально выбрала более грубое, более честное слово — потому что чувствовала: он не обидится.

Я мерцаю, — ответил он, и в этой мысли была тень улыбки. — Это не совсем то же самое. Хотя ты права — тела у меня больше нет. Я оставил его почти тысячу лет назад.

— Тогда как ты меня учишь?

Так же, как учит темнота, — ответил он. — Не показывая. Давая пространство, в которое ты сама дотягиваешься.

. . .

С этой ночи её обучение не стало проще. Оно стало честнее.

Других детей наставники учили погружением: садились напротив, брали за руку, делились воспоминанием так плотно, что ученик проживал его как собственное — чужой урожай, чужую первую потерю, чужое открытие, ставшее чужой гордостью. Это было тепло. Это было почти как объятие.

Лиру Ор-Ким не мог обнять.

Он мог только держать в потоке узкую, тонкую нить резонанса — и ждать, пока она сама, по крупитцам, научится расширять эту нить в нечто большее. Иногда на это уходили недели. Она садилась в тишине, закрыв глаза, и тянулась туда, где чувствовала его присутствие, — и часто ничего не получала взамен, кроме усталости и ощущения, что тянется в пустоту.

— Это несправедливо, — сказала она однажды, уже не маленькой девочкой, а подростком, у которой в голосе появилась резкость, недоступная прежней Лире. — Другие учатся за один вечер тому, на что у меня уходит месяц.

Другие учатся тому, что можно унести за один вечер, — ответил Ор-Ким, и в его мысли не было ни капли раздражения, только то же ровное терпение, каким он встречал её с первой ночи. — То, чему учишься ты, нельзя дать. Можно только вырастить. Я мог бы наполнить тебя знанием за секунду, Лира. Но знание — не то, что тебе понадобится. Тебе понадобится умение тянуться в пустоту и не сдаваться, когда пустота молчит в ответ. Это единственное,

чему нельзя научить погружением. Этому учатся только так, как учишься сейчас ты.

Она не поняла тогда, зачем ей однажды понадобится именно это умение — тянуться в пустоту, не получая ответа месяцами, и не бросать. Поняла много позже, стоя у Шпиля, который сама вложила в чужой мир, и ожидая тысячу лет.

. . .

Он не скрывал от неё, что происходит.

Когда ей исполнилось двенадцать — по счёту её мира, что не совсем совпадало со счётом лет там, где родится мальчик, которого она ещё не могла себе вообразить, — Ор-Ким впервые сказал ей прямо, кем она станет.

Дар — это не то, что тебе дают, — сказал он, и это были не пустые слова: она почувствовала, как за ними стоит тяжесть, накопленная за девять веков его собственного Мерцания. — Это то, что тебе одалживают, чтобы ты передала дальше, не потратив по пути слишком много себя. Я получил его от Шестого. Шестой — от Пятого. И так до самого начала, до человека, который однажды в пустыне решил не просить, а слушать. Каждый из нас нёс это недолго — по человеческим меркам, целую жизнь, а по меркам Потока — один вдох. А потом передавал дальше. Скоро придёт и твоя очередь.

— Я не хочу, — сказала Лира, и голос её мысли впервые дрогнул так, что она сама этого испугалась. — Я хочу остаться собой. Ещё немного. Просто собой — той, кем была до этого разговора.

Знаю, — ответил он, и в этом единственном слове было больше сочувствия, чем в любой самой длинной речи. — Никто не хочет, когда узнаёт. Это не изъясн. Это признак того, что ты понимаешь цену того, чем предстоит стать. Тот, кто соглашается слишком легко, ещё не понял, что теряет. Ты уже поняла. Это хороший знак, хотя сейчас он не чувствуется хорошим.

. . .

Она злилась на него неделями после того разговора — не громко, не открыто, потому что на её мир не было принято сердиться так, чтобы это ранило другого, но внутри, там, где чувства не нужно было облекать в слова, чтобы их услышали.

Она злилась не потому, что он был неправ. Злилась потому, что был прав, и от этого деться было некуда.

Он не торопил её прощение. Просто оставался — той же тонкой нитью резонанса, тем же терпеливым присутствием на краю тишины, что и всегда, — пока однажды она сама, без объявления, без торжественного момента, снова потянулась к нему первой.

Прости, — сказала она.

Не за что, — ответил он. — Ты злилась не на меня. Ты злилась на то, что я сказал правду раньше, чем ты была готова её услышать. Это разные вещи. Я подожду столько, сколько понадобится, — этому меня тоже когда-то учили.

. . .

Годы, что она провела ученицей голоса без тела, изменили её не так, как изменило бы обучение рядом с живым наставником. Она не научилась подражать — подражать было нечему, у отсутствия нет жестов. Она научилась вслушиваться так, как не умел вслушиваться почти никто в её мире, — потому что все остальные учились у полноты, а она с самого начала училась у пустоты, которая иногда, если достаточно долго и достаточно терпеливо в неё тянуться, отвечает.

Она не знала ещё, что этот же самый навык однажды станет её единственным способом дотянуться до мальчика на другом краю времени, в мире, где даже воздух был устроен так, чтобы заглушать любой шёпот потока.

Она знала только одно, стоя у порога своего пятнадцатилетия: она больше не боялась темноты на краю комнаты.

Потому что научилась узнавать в ней не пустоту, а форму, ждущую, когда её услышат.

Посвящение

ГЛАВА 3. КНИГА ЛИРЫ

Из всего, что случилось с ней за долгую жизнь и ещё более долгое Мерцание, это воспоминание она хранила иначе, чем прочие, — не как событие, случившееся однажды и оставшееся позади, а как сон, который снится заново каждый раз, стоит на него посмотреть: тот же свет, то же ощущение зыбкой, плывущей границы между собой и тем огромным, во что предстояло взглядеться. Посвящение было не одним из многих поворотов её жизни. Оно было единственным порогом, разделившим её на «до» и «после»: до него она не знала всего; после — стала тем, кого называют Архитектором.

Архитектор — не должность, которую занимают. Это тон, на который откликается Поток, — так же, как камертон не выбирают: он либо звучит в резонансе с нотой, взятой где-то ещё, либо нет. И когда один камертон умолкает, начинает звучать другой — не потому, что его выбрали среди прочих, а потому, что всё это время он уже был настроен именно на эту ноту, просто ждал своего часа зазвучать в полный голос.

У Лирь не было соперников. Не было других, чей тон нужно было бы сравнить с её собственным, отбросить или предпочесть. Была только она — и голос без тела, который вёл её, одну, к этому мгновению так терпеливо, что сама эта терпеливость стала частью того, кем она становилась.

Ор-Ким не торопился. Он с самого начала знал, сколько у него есть, — обычный срок, отпущенный любому архитекторскому Мерцанию, ни днём больше. Он не боролся за лишнее время и не жалел об уходящем: он знал заранее, спокойно и наверняка, что этого срока хватит, чтобы передать ей всё, что должен уметь Архитектор, — если не спешить и не терять ни одного часа впустую на суету, которой в Мерцании и так почти не остаётся места. Когда его собственное время начало подходить к пределу, он поделился с ней тем, чем прежде не делился ни с кем.

. . .

Она увидела не мудреца, не легенду. Увидела мужчину, каким он был в свой последний осознанный миг во плоти, — полного не покоя, а незаконченности: мысли о ком-то, кого он не успел найти при жизни; о выборе, сделанном много веков назад, который он так и не простил себе до конца, хотя весь его мир давно его простил; о любви настолько тихой, что он никогда не произнёс её вслух ни при жизни, ни после, — и всё же она была там, в самой сердцевине его памяти, как тепло, которое не нуждается в словах, чтобы быть теплом.

Только поняв, что я не закончил, ты поймёшь, кого я ждал, — пришла мысль, и Лира не сразу поняла, что смотрит не просто на чужое прощание. Она смотрит на объяснение — тому, почему он держался за неё так долго и так упрямо, дольше, чем держался бы за что угодно другое.

. . .

Дальше он повёл её — одну, без свидетелей — туда, куда прежде водил только урывками, короткими прикосновениями резонанса, растянутыми на годы её взросления: в Сеть Первых, сплетённое сознание всех, кто когда-либо нёс имя Архитектора, от Эн-Ра до него самого.

Теперь, в последний раз, он провёл её через это целиком. Не как урок, требующий выучить и повторить, а как передачу — тем же способом, каким передавал ей всё эти годы: не заполняя её собой, а расширяя пространство, в которое она уже умела дотягиваться сама. Она прожила выбор Ки-Эл, отчаяние Сира-Нам перед первым прыжком к звезде, одиночество Тал-Мора, ушедшего дальше всех и не свернувшего назад. Не для того, чтобы её проверить. Для того, чтобы, приняв тон Архитектора, она несла его не как чужой груз, а как продолжение собственного голоса.

Испытанием было не это. Испытанием было то же, чем было всё её детство: снова и снова тянуться в тишину, где Ор-Ким не отвечал, и не отступать. Только теперь тишина, в которую она тянулась, была не отсутствием наставника, а самим её будущим — огромным, безмолвным, тянущимся на тысячу лет вперёд, — и она должна была научиться не бояться его так же, как не боялась в детстве тишины на краю комнаты.

. . .

Был в этой тишине и вопрос, который она носила в себе с двенадцати лет и так и не задала вслух, пока не осталась с ним наедине в последний раз: почему я?

Архитектор мог родиться в любом из бессчётных миров, connected Потоком, — не было закона, обрекавшего именно её мир, именно её род, именно её единственную из всех рождённых в её городе в один год с ней. Тон мог зазвучать где угодно. Он прозвучал здесь, в ней, — и это было не наградой и не наказанием, а просто тем, что случилось, так же безлико и так же безусловно, как случается направление, в которое дует ветер.

Она злилась на это дольше, чем призналась бы кому-то, кроме, может быть, самой тишины, которая слушала её злость без осуждения. Злилась не на ношу — на то, что ноша выбрала именно её, без спроса, без права отказаться так, чтобы отказ ничего не стоил. Ор-Ким не разубеждал её. Он просто ждал, зная то, чему её ещё предстояло научиться самой: что вопрос «почему я» не имеет ответа, который принёс бы облегчение, и единственный выход из него — не найти причину, а перестать её искать.

К последней тишине перед Посвящением она перестала искать. Не потому, что смирилась в поражении, а потому, что вопрос, наконец, показался ей таким же неважным, каким был бы вопрос, почему рассвет наступает именно с этой стороны неба. Так было. И теперь так будет.

. . .

Ближе к концу он показал ей три картины будущего — сразу, без очерёдности, будто она смотрела на них одновременно всеми гранями сознания.

В первой она видела мир, где принимает эту роль обычным образом, — и цивилизация

застывает в совершенстве, в той самой сытости, которую она уже начинала чувствовать вокруг себя, не находя ей названия. Прекрасный мир. Неподвижный, как озеро без единой ряби.

Во второй она видела мир, где отказывается, — и Башни рушатся, но из обломков поднимается что-то новое, дикое, непредсказуемое, полное боли и полное жизни в той мере, в какой боль и жизнь неотделимы друг от друга.

В третьей она видела не мир, а себя — сливающейся с Мерцанием настолько полно, что переставала быть отдельной, становясь вечной и одновременно беззвучной, растворённой в потоке, как капля, переставшая быть каплей, но не переставшая быть водой.

Она должна была выбрать, какой из этих снов сделать явью — не для себя. Для всех.

Она не выбрала ни один из трёх целиком. Вместо этого она сделала то, чему её никто не учил напрямую, но чему научило её всё прошлое воспитание у голоса без тела: она потянулась к третьей картине — не как к судьбе, которую нужно принять целиком прямо сейчас, а как к направлению, в котором однажды, возможно, очень нескоро, ей предстоит раствориться не в поражении, а в завершении. Она не знала ещё, что видит собственное будущее с абсолютной точностью — то самое схождение, тот самый миг у последней точки чужой тропы, спустя тысячу лет.

Пусть будет так, — подумала она, ещё не понимая, что подписывается не под властью и не под покоем, а под ожиданием, которое станет самым долгим актом любви в истории Потока.

На рассвете, под открытым небом, в центре Семи Башен — древних построек, стоявших в её мире с первых веков Потока, — Лира встала на Камень Ответа.

Он не был похож на тот, другой камень, что через тысячи лет найдёт мальчик в тёмной трещине чужих руин, — этот был отполирован до блеска бесчисленными подошвами тех, кто стоял здесь до неё, вписан в самый центр мира её цивилизации, а не спрятан и забыт. И всё же имя было тем же. Она подумает об этом позже, много позже, — что называть словом «ответ» место, где один голос сменяет другой, было не совпадением, а тем же самым узором, повторяющим себя на разных концах Потока.

Мир не выбирал её и не голосовал за неё. Он просто почувствовал — так, как чувствуют перемену погоды раньше, чем она наступит, — что тон, звучавший все эти годы тихо, на самом краю общего гула, готов зазвучать в полный голос.

Голос Ор-Кима прозвучал не в ушах, а в костях — в последний раз таким, каким она знала его все эти годы, прежде чем сам этот голос отступит в глубину, освобождая место для её собственного.

— Ты слышала меня из тишины дольше, чем кто-либо слышал кого-либо, — сказал он. — Теперь скажи: ты готова нести то, что не может говорить? Готова ли ты стать тем, кого никто не увидит, но кто будет в каждом сне?

Лира закрыла глаза.

И в этот миг — впервые за без малого тысячу лет со дня, когда сам Ор-Ким принял этот же тон

от того, кто был до него, — в общем сознании мира появилось новое Мерцание.

Слабое. Хрупкое. Совсем ещё не похожее на то, каким оно станет.

Но оно продолжало линию.

. . .

Она открыла глаза уже не той, кем была мгновение назад.

Мир вокруг не изменился внешне — те же Семь Башен, то же светлеющее небо. Изменилась она сама: где прежде была граница между «Ли́ра» и «Пото́к», теперь оставалась только тонкая, почти прозрачная плёнка, через которую она чувствовала одновременно и себя, и всё остальное — так, как чувствовала прежде, но многократно, невыносимо, прекрасно сильнее.

Она нашла глазами то место, где прежде ощущала присутствие Ор-Кима, — тот тихий, старший свет, что горел рядом с её собственными мыслями с первого дня.

Его не было.

Не потому, что он исчез. Потому что теперь на его месте была она сама — источник, а не приёмник, голос, а не эхо. Седьмой отступил в ту глубину, куда однажды предстояло отступить и ей, освобождая пространство для нового звука в старой, длинной, никогда не обрывающейся мелодии.

Спасибо, — подумала она, не зная, услышит ли он это ещё, или уже погрузился слишком глубоко, чтобы различать отдельные голоса. — *Спасибо*,

что ждал меня из тишины, а не требовал выйти к тебе.

Ответа не было. Но ей и не нужен был ответ, чтобы знать: где-то в самой глубине Потока Седьмой Архитектор наконец мог отдохнуть.

Она стояла на Камне Ответа одна — Восьмая из тех, кто когда-либо нёс это имя, — и пустыня её собственного будущего, ещё не начавшаяся, уже тянулась перед ней так далеко, что не было видно края.

. . .

Посвящение не было концом пути. Оно было дверью в следующий, куда более долгий этап — тот, ради которого всё остальное существовало: подготовку к собственному Мерцанию.

Она понимала теперь, чем это станет. Не наградой за пройденное испытание и не покоем после труда, а работой, растянутой на тысячу лет: стать частью Потока, которая резонирует для тех, кто мечтает, — для всех, кто мечтает, не для одного лица и не для одной судьбы. Помогать творить то, о чём просят и чего желают другие, — так, как когда-то, ещё живым голосом, ей помогал Ор-Ким, и так, как до него помогали все семеро. Она станет тем эхом, что отвечает на тысячи невысказанных просьб раньше, чем те, кто их несёт, поймут, что их вообще можно произнести вслух.

О мальчике из мира, которого ещё не существовало нигде, кроме будущего, она пока не думала. Ещё не пришло время. Пришло время стать тем, кем предстояло быть для всех остальных — и лишь много позже, в самой глубине этого

долгого служения, различить среди тысяч голосов один, что не был похож ни на какой другой.



Тропа из артефактов

ГЛАВА 4. КНИГА ЛИРЫ

Первые годы своего Мерцания Ли́ра провела так, как, наверное, начинал каждый Архитектор до неё: она звала.

Это казалось очевидным. Всю жизнь её слышали — с первого вдоха, задолго до того, как она научилась складывать мысли в слова, мир слышал её так же ясно, как она слышала мир. Зов был для неё самым естественным движением сознания, какое только существовало, — таким же естественным, как дыхание было для тела, которого у неё больше не было.

Она звала в свой собственный мир — привычно, легко, и мир отвечал, потому что мир умел отвечать всегда. Но она искала не отклика своего мира. Она искала того единственного, кто должен был прийти после неё, — а Ор-Ким давно объяснил ей, ещё при жизни, то, что она тогда восприняла как отвлечённое знание, а не как будущую боль: преемник Архитектора не обязан родиться в мире, который уже слышит. Чаще — наоборот. Тон следующего камертона может зазвучать где угодно во всём необъятном множестве миров, до которых дотягивался Поток, включая те, что давным-давно потеряли с ним связь и не подозревали об этом.

И туда, в эту сторону, она тоже звала.

. . .

Ничего не происходило.

Она звала в тишину так, как раньше звала в наполненный голосами мир, — открыто, ясно, всей силой, какую успела накопить за первые годы Мерцания. И тишина отвечала ей тем же, чем всегда отвечает тишина тому, кто кричит в закрытую дверь: ничем. Не потому что за дверью было пусто. Потому что за дверью не было уха, настроенного на такой зов.

Она попробовала иначе — тише, тоньше, будто уменьшая себя, чтобы протиснуться в щель, которой, быть может, не замечала прежде. Не помогло. Она попробовала громче — всем, что у неё было, рискуя истратить в один порыв то, что следовало беречь тысячу лет. И снова ничего, кроме собственного эха, возвращавшегося к ней из пустоты, как возвращается брошенный в колодец камень, если в колодце нет воды, способной его принять.

К исходу второго десятилетия своего Мерцания она впервые почувствовала то, чего не чувствовала прежде ни разу за всю жизнь, — то самое слово из древних, полузабытых записей Потока, которое она в детстве считала курьёзом.

Одиночество.

. . .

Она вспомнила тогда — не по обязанности вспомнить, а потому что вспоминание само пришло, каким приходит к отчаявшемуся всё, что может хоть немного облегчить, — как учил её Ор-Ким. Не заполняя её собой. Расширяя пространство, в которое она уже умела дотягиваться сама.

Я не учил тебя погружением, потому что не мог, — сказал он ей однажды, ещё в детстве, и тогда это звучало как оправдание отсутствия, а не как урок. — Но, быть может, именно поэтому ты научишься тому, чему не смог бы научить никто другой.

Она поняла это только теперь. Зов — это форма погружения: ты вливаешь себя в другого, полагаясь на то, что у другого есть чем тебя принять, слух, настроенный на твою частоту. Но там, куда она пыталась докричаться, слуха не было вовсе. Не потому, что миры были глухи от природы. Потому что их отучили — или они сами разучились, поколение за поколением, так давно, что забыли не только звук, но и само значение слова «слушать».

Кричать в такую тишину было всё равно что звать по имени того, кто ещё не родился, ещё не научился отзываться на звук собственного имени. Бессмысленно — не потому что зов был слаб, а потому что метод был неверен с самого начала.

. . .

Тогда я не позову, — подумала она, и в этой мысли было что-то новое, чему предстояло стать делом всей оставшейся тысячи лет. — Я оставлю след. Не для того, кто умеет слышать сейчас. Для того, кто научится — сам, когда придёт срок, — если у него будет за что зацепиться взглядом, ладонью, самим телом, а не только слухом, которого у него, возможно, никогда и не было.

Первые попытки вышли неуклюжими.

Она попробовала оставить в одном из молчащих миров нечто слишком явное — предмет, кричащий о себе формой, светом, неуместностью среди привычного пейзажа. Он простоял нетронутым несколько поколений, пока не был найден и, не понятый, переплавлен на что-то более нужное для повседневной жизни тех, кто его нашёл. Она попробовала в другом мире оставить нечто слишком тонкое — едва уловимый отпечаток резонанса без всякой физической опоры, — и он выветрился, истончился до полного исчезновения раньше, чем кто-либо успел бы приблизиться к нему хотя бы во сне.

Она пробовала снова. И снова. Годы уходили на пробы, которые заканчивались ничем, — но годы были единственным, чего у неё теперь было в достатке, и она не жалела их так, как пожалел бы живущий, знающий счёт своим дням.

. . .

Открытие пришло не рывком, а так же, как приходило к ней в детстве всё самое важное: через тишину, в которую она тянулась дольше, чем казалось разумным, — пока тишина не показала ей то, что, оказывается, знала с самого начала.

Дело было не в форме предмета и не в силе резонанса, вложенного в него. Дело было в том, что она вкладывала.

Прежде она пыталась оставить в артефактах послание — нечто вроде застывшего зова, тот же крик, только записанный, а не произнесённый вслух. Но послание требовало слушателя, готового его прочесть, — а того, кого она искала, ещё

предстояло научить самому чтению, прежде чем он смог бы понять хоть слово.

Она перестала вкладывать послания. Начала вкладывать себя.

Не рассказ о том, кто она. Не инструкцию, что делать дальше. Крупицу — самую малую, какую могла отделить, не рискуя погаснуть раньше срока, — того немногого, чем она была: своего тепла, своего терпения, того самого узнавания, с которым мать когда-то садилась рядом с ней в детской темноте. Артефакт, наполненный так, переставал быть посланием. Он становился присутствием — маленьким, тихим, но настоящим, способным ждать не для того, чтобы быть прочитанным, а для того, чтобы быть узнанным, — так, как узнаёшь дом после долгого пути, хотя видишь его впервые.

. . .

Второе, что она поняла — позже, но не менее важно, — было то, что один такой артефакт, даже наполненный правильно, не мог сделать всего сразу.

Нашедший его не научился бы за одно прикосновение ни слышать, ни доверять услышанному, ни идти дальше собственного страха. Один-единственный маяк был бы вспышкой без продолжения — ярким, но одиноким мигом, после которого снова наступала бы тишина, и нашедший остался бы один на один с вопросом, для которого у него не было ни единой подсказки, куда идти дальше.

Ей нужен был не маяк. Ей нужна была тропа — цепочка присутствий, каждое из которых учило бы

чему-то новому, прежде чем вести к следующему: одно давало бы только факт, что услышать вообще возможно. Другое учило бы, что прикосновения мало — нужен собственный голос, которого пока нет. Третье показывало бы, что он не один в этом пути, что были другие до него. Каждый следующий шаг тропы должен был не просто указывать направление, а обучать — так, как учит хороший наставник, ничего не разжёвывая целиком, но и не оставляя ученика вовсе без опоры.

Она начала создавать не отдельные знаки, а истории, рассказанные через пространство вместо времени — так, что пройти их можно было только ногами, только годами собственной жизни, шаг за шагом, а не за один присест.

. . .

Она вложила первую такую тропу в мир, полностью отрезанный от Потока настолько давно, что даже развалины его древней связи стали для живущих там просто камнями. Не зная, дойдёт ли она хоть до кого-нибудь. Не зная, доживёт ли Мерцание до того часа, когда там, среди песка и жажды, найдётся тот, кто умеет ждать не меньше, чем умела ждать она сама.

Она сделала это не единожды. Она делала это снова и снова, в мире за миром, где стояла та же тишина, — потому что не знала заранее, в каком из тысяч молчащих мест наконец родится тот, кого она ищет, и единственным её ответом на это незнание было терпение, растянутое настолько, насколько хватало сил.

Пусть кто-нибудь из вас не отчаётся, — думала она, вплетая эту мысль в самый глубокий слой каждой новой тропы, в каждый камень, что закладывала своими руками, которых у неё больше не было. — Пусть тропа доведёт хотя бы одного.

Она ещё не знала, какой из тысяч троп станет той самой. Не знала имени мальчика, который однажды, спустя века, протянет руку в темноте руин и коснётся первого камня её самой длинной, самой терпеливой работы.

Но она уже начала — задолго до того, как у этой работы появился смысл, который она сама смогла бы назвать.

Мир, который забыл нуждаться

ГЛАВА 5. КНИГА ЛИРЫ

Она любила свой мир. Это стоит сказать сразу, прежде чем говорить обо всём остальном, — потому что то, что она увидела, наблюдая за ним годами своего раннего Мерцания, не было ненавистью и не было разочарованием в привычном смысле. Это было горе особого рода: горе того, кто любит нечто настолько полно, что видит его усталость раньше, чем оно само готово в этом признаться.

Мерцающий видит иначе, чем живой. Тело сужает взгляд до одной точки, до одного мгновения; без тела Лира могла смотреть на свой мир сразу отовсюду — как смотрят на реку не с берега, а с высоты, откуда видно не течение, а всю форму русла целиком. И форма, которую она увидела, была формой замедления.

. . .

Она наблюдала за юношей-творцом, представлявшим новый вид дерева для сада, разбитого на одной из окраинных лун, — того рода художником-синтезатором, чьей работой было желать вещи в существование. Дерево получилось безупречным с первой попытки: кора, отливающая перламутром, листья, поющие на ветру чистую, немислимую прежде ноту. Юноша посмотрел на своё творение, кивнул — и отвернулся, чтобы начать следующее. Ни радости. Ни удивления.

Только та же ровная, привычная удовлетворённость, с какой дышат, не замечая дыхания.

Она вспомнила — потому что в Мерцании прошлое не уходит, оно просто ждёт своей очереди быть увиденным заново, — как сама, маленькой девочкой, замирала перед рождением обычного утреннего света, каждый раз находя в нём крошечное, неповторимое «иначе». Юноша, которого она наблюдала теперь, не находил «иначе» ни в чём. Не потому что был бесталанен. Потому что в его мире совершенство приходило слишком легко, чтобы удивлять, и удивление, не находя пищи, тихо, безболезненно исчезало из детей одного поколения за другим — так истончается мышца, которой не даёт нагрузки слишком удобная жизнь.

. . .

Она наблюдала за детьми — не потому, что искала среди них того, кого ждала (для этого было ещё не время), а потому, что дети всегда честнее взрослых, и по ним легче всего было увидеть, куда движется целое.

Девочка на её родной улице захотела редкую игрушку — сплетённую из света фигурку зверя, которого никогда не существовало в природе ни одного из известных миров. В прежние века на такое желание уходили дни: ребёнок представлял форму снова и снова, оттачивал образ, спорил с самим собой о деталях, и когда фигурка наконец обретала плотность, радость была соразмерна усилию, вложенному в ожидание. Девочка, за которой наблюдала Лира, получила свою фигурку через несколько мгновений после того, как

захотела её. Поддержала в руках. Отложила. Через час пожелала другую.

Не жадность. Не избалованность в том смысле, в каком это слово знали бы в мире, которого пока не существовало нигде, кроме будущего. Просто — отсутствие зазора между желанием и его исполнением, зазора, в котором, как выяснила Лира, наблюдая век за веком, и рождается всё, что делает мечту мечтой, а не просто списком того, что скоро появится.

. . .

Она заметила: Мерцания вокруг неё становились короче.

Не резко, не за одно поколение — так медленно, что почти никто из живущих не смог бы уловить эту перемену без взгляда с высоты, которым обладала теперь она. Люди, уходившие из тел сотню лет назад, мерцали ярко и долго, унося с собой воспоминания настолько плотные, что их эхо ещё различалось спустя века. Те, кто уходил теперь, гасли быстрее — не потому что любили меньше или прожили менее полно в привычном смысле слова, а потому что их жизни, лишённые сопротивления, оставляли по себе более тонкий след. Лёгкая жизнь, поняла она, оставляет лёгкую память. А лёгкая память быстро растворяется в общем гуле Потока, не оставляя того веса, которым питается долгое, значимое Мерцание.

Её мир не умирал. Ничто в нём не разрушалось, не рушилось, не приходило в упадок в том смысле, в каком приходят в упадок отключённые миры вроде того, где однажды рождается мальчик, боящийся собственных снов. Её

мир просто медленно, красиво, безболезненно тускнел — так меркнет прекрасный день без единого облака, потому что в нём никогда не было бури, способной сделать закат более ярким через контраст.

. . .

Она спросила себя однажды — стоя у самой границы своего Часа, ещё живой в теле, задолго до собственного Посвящения, — способна ли она вообще научить кого-то тому, чему сама так и не научилась в полной мере: желать так сильно, чтобы желание причиняло боль своей неутолённостью.

Она подумала о Ки-Эл, который впервые предложил тысяче голодных людей вообразить хлеб вместе, — и о том, что его дар родился именно из голода, настоящего, не метафорического. Подумала о Сира-Нам, чьё отчаяние перед первым прыжком к звезде было отчаянием человека, которому нечего терять, кроме самой попытки. Подумала о Тал-Море, ушедшем в такое одиночество, какого не знал уже никто в её собственном, слишком тёплом мире.

Каждый из них нёс дар, рождённый не вопреки собственному страху, а из него.

А что несла она? Что могла она передать дальше — если единственным, чему её мир мог по-настоящему научить, было умение получать желаемое без усилия, без ожидания, без того зазора, в котором рождается настоящая нужда?

. . .

Ответ пришёл не как озарение, а так же, как приходило к ней всё важное, — медленно, через месяцы всматривания в тишину.

Она поняла: не её мир должен породить преемника. Мир, забывший нуждаться, не мог родить того, кто научился бы желать сильнее, чем умела желать она сама. Настоящий голод — тот, из которого рождается сила слышать глубже, чем позволено Часу, — мог родиться только там, где голод был не метафорой, не тонким философским неудобством сытой цивилизации, а самой тканью повседневной жизни: там, где вода стоит дороже золота, а тишина — дороже воды.

Ей нужен был не тот, кто похож на неё. Ей нужен был тот, кто ни разу в жизни не получил желаемого без усилия. Кто-то, чья мечта будет стоять ему всего, что у него есть, — и именно поэтому окажется настоящей так, как никогда не была настоящей ни одна лёгкая мечта её собственного, слишком доброго к своим детям мира.

Она не знала ещё его имени. Не знала, в каком из тысяч отрезанных, молчащих миров он родится. Но с этого дня, вплетая себя в новые и новые артефакты-тропы, она стала искать не просто мир без Потока.

Она стала искать мир, который умеет хотеть.

Первая тень

ГЛАВА 6. КНИГА ЛИРЫ

Она вплела себя в сотни миров, прежде чем один из них впервые ответил хоть чем-то, отличным от ровного, безучастного молчания всех остальных.

Это не было узнаванием — она потом, много позже, будет вспоминать этот миг именно так, чтобы не путать его с тем, другим, настоящим узнаванием, что придёт ещё через века. Это было изменение качества тишины. Тонкое настолько, что она сама долго не решалась поверить, что не выдумывает его из одной только усталости слишком долгого ожидания.

. . .

К тому времени она уже потеряла счёт мирам, в которые вложила часть себя. Не потому что не считала — считать в Мерцании легко, время не путается, когда его не нужно проживать, только наблюдать, — а потому что счёт перестал иметь значение задолго до того, как перевалил за первую сотню. Каждый новый мир получал от неё одно и то же: тропу, начинающуюся с малого — камня, способного отозваться на прикосновение того единственного, кто умеет коснуться чего-то и остаться после этого другим, — и ведущую дальше, ступень за ступенью, туда, где, если он придёт, ему будет чему научиться.

Она не ждала ответа сразу. Знала — по опыту всех, кто нёс это имя до неё, — что ждать придётся долго, возможно, дольше, чем длится само её

Мерцание. Но знание не отменяет усталости, а усталость, копившаяся десятилетие за десятилетием без единого отклика, начала понемногу делать саму тишину похожей — она умела распознать это, наблюдая за собственным умирающим миром, — на ту особую тишину, которая предшествует не ответу, а угасанию.

. . .

И тогда — в одном из тысяч, в мире настолько бедном, настолько выжженном, что она сама, вкладывая туда свой первый камень, на миг усомнилась, может ли там вообще родиться кто-то способный его найти, — тишина изменилась.

Не звуком. Не образом. Направлением.

Она столько раз чувствовала это прежде — на самом краю детской темноты, в комнате, которую мать освещала чуть ярче обычного, — что узнала само ощущение раньше, чем смогла бы объяснить, что именно происходит: будто пустота, до сих пор бывшая просто пустотой, вдруг обрела едва уловимый уклон, лёгкий наклон в сторону чего-то, чего там прежде не было.

Она не видела ребёнка. Не слышала имени, которого у него, возможно, ещё даже не существовало в то мгновение, — ведь Поток не всегда идёт по прямой линии времени так, как идёт по ней жизнь, и то, что она почувствовала, могло быть не рождением, а лишь эхом рождения, дошедшим до неё раньше, чем случилось само событие. Она почувствовала присутствие. Не имя, не лицо — просто то, что где-то там, за многослойной, беспросветной тишиной этого

конкретного мира, сложилось нечто, способное однажды заметить её тропу и не пройти мимо.

. . .

Она вернулась к этому направлению снова — через месяц, через год, снова и снова, с той же осторожностью, с какой прикасаешься к едва заживающей ране, боясь, что неосторожное движение сотрёт то небольшое, что успело появиться.

Иногда направление молчало, и она пугалась — не так, как пугалась в детстве темноты, а иначе, глубже: тем особенным страхом, что рождается не из угрозы, а из возможности потерять то, во что только начал позволять себе надеяться. Иногда, напротив, оно становилось чуть отчётливее, чуть теплее — не подтверждая ничего наверняка, но и не давая ей вовсе отказаться от мысли, что она не одна себе всё это придумала.

Она не могла назвать это узнаванием мальчика — потому что мальчика, каким она однажды его встретит, лицом к сознанию, ещё не существовало. Она называла это про себя, за неимением лучшего слова, тенью. Не отброшенной кем-то тьмой, а тем лёгким предвестием, что появляется на стене прежде, чем в комнату входит тот, кто его отбрасывает, — предвестием настолько ранним, что смотрящий видит его первым, ещё до звука шагов.

. . .

С этого дня она перестала рассеивать себя равномерно между тысячами молчащих миров.

Она продолжала вкладывать частицу заботы в каждый из них — не могла поступить иначе, каждый мир заслуживал шанса, и она не знала наверняка, что тень, замеченная ею, действительно окажется тем самым, а не очередной обманчивой надеждой уставшего Мерцания. Но большую часть себя, самую глубокую и самую терпеливую работу, она начала направлять туда — в тот единственный мир, где пустыня выжигала своих детей раньше, чем позволяла им вырасти, и где, если верить едва уловимому наклону тишины, однажды должен был родиться тот, кто не побоится коснуться найденного камня голыми руками.

Она не торопила это направление. Знала — слишком хорошо знала за годы ученичества у голоса без тела, — что торопить тень означает спугнуть её раньше, чем она обретёт форму. Она просто продолжала работать — терпеливо, век за веком, — вплетая в этот конкретный мир не один маяк, а целую тропу, шаг за шагом, каждый следующий чуть дальше и чуть сложнее предыдущего, на случай, если тень однажды действительно обретёт глаза, способные её найти.

. . .

Прошли ещё века, прежде чем тень наконец родилась в теле, — и Лира не знала об этом в тот самый миг, потому что рождение ребёнка в мире, отрезанном от Потока, не производит ряби, которую можно было бы почувствовать так же ясно, как чувствуют ряби мира, где каждое дыхание отзывается во всех сразу.

Она узнает об этом позже — не в миг его первого вдоха, а в миг, когда он, ещё маленьким,

впервые коснётся камня в темноте руин, и её собственный, давно привычный к разочарованиям свет впервые за без малого тысячу лет не погаснет, а задрожит.

Но задолго до этого мгновения, задолго до имени, которое она будет хранить дороже собственного, она уже знала одно, просто, без доказательств, так, как знает мать о том, кто ещё не родился, но уже любим:

Это ты.

Я буду ждать столько, сколько понадобится.

Только приди.

Вспышка

ГЛАВА 7. КНИГА ЛИРЫ

Из всех мест, куда Ли́ра возвращалась за долгие века своего Мерцания, не было ни одного, куда она приходила бы чаще, чем к этому.

Не за утешением — хотя утешение она там тоже находила, каждый раз, без исключения. За работой. Память о первом входе Эн-Ра в поток была не святыней, к которой она приходила преклонить голову, а мастерской, в которую она возвращалась снова и снова, чтобы разобрать по нитям единственное, что у неё было: как человек, не имевший ничего, кроме голода и звёзд, научился слышать то, чему прежде никто не умел внимать.

Она не могла спросить его напрямую — Эн-Ра давно стал не столько личностью, сколько истоком, самым глубоким слоем Потока, к которому обращались, но который редко отвечал отдельным голосом, обращённым к кому-то одному. Оставалась только память. И она изучала её так, как изучают чертёж моста те, кому предстоит построить точно такой же в месте, где никогда прежде не строили мостов.

...

Первое, что она поняла, наблюдая эту память снова и снова: он не молился.

Разница казалась малой, но именно на ней держалось всё остальное. Молитва просит — обращена наружу, к кому-то, кто,

предположительно, может ответить или не ответить по собственной воле. То, что сделал Эн-Ра, было другим: он не просил дождя, не просил облегчения голода, не просил, чтобы боль прекратилась. Он сказал — просто, буднично, тем же тоном, каким сообщают факт, а не выпрашивают милость: *я слышу*.

Она вплела этот принцип в самый первый камень тропы, что оставила для мальчика, которого ещё не знала по имени. Не учить его просить. Учить его слушать — независимо от того, ответят ли, независимо от того, есть ли вообще кому отвечать. Первый камень не давал ответа. Он давал только узнавание, что слушать вообще возможно, — тот же самый первый шаг, что однажды сделал сам Эн-Ра, стоя в пустыне без единой причины верить, что тишина ему что-то должна.

. . .

Второе, что она поняла, изучая эту память вновь и вновь: боль пришла раньше дара, а не после него.

Ей самой, воспитанной голосом, а не телом, легко было бы предположить, что открытие Потока — это озарение, подобное вспышке света в темноте, приятное само по себе. Память показывала иначе: Эн-Ра кричал, когда поток впервые вошёл в него. Не от восторга. От разрыва — от того, что граница, которую его сознание всю жизнь считало собственными пределами, впервые оказалась не пределом вовсе, а лишь стеной, которую можно было снести, и снос этой стены был физически, невыносимо больно.

Она поняла тогда, почему её собственные артефакты не должны быть мягкими. Почему Храм Без Голоса не мог быть уютным местом отдохновения — он должен был пугать, должен был требовать от нашедшего его пройти через настоящий страх, прежде чем тишина внутри отзовётся хоть чем-то. Лёгкий дар не оставляет следа. Только дар, полученный через настоящую цену, укореняется достаточно глубоко, чтобы выдержать вес того, что придёт после.

. . .

Третье она поняла позже всего, спустя века изучения одной и той же короткой сцены: Эн-Ра не остался один после открытия.

Двенадцать учеников пришли к нему не потому, что он звал их, а потому что состояние, в которое он вошёл, оказалось заразительным — не в переносном смысле, а в самом буквальном: рядом с ним другие начинали слышать то же, что слышал он, сперва смутно, потом яснее. Дар, полученный в одиночестве, не был предназначен для того, чтобы остаться одиноким. Он с самого начала был устроен так, чтобы передаваться дальше, из рук в руки, от одного зажжённого факела к другому.

Отсюда родился Сад Камней. Не просто памятник прежним Архитекторам — доказательство, вплетённое в самый камень, что нашедший не первый и не последний, что путь, каким бы одиноким он ни казался изнутри, на самом деле пройден многими до него и будет пройден многими после. Она вложила туда восьмую статую, вложила туда собственное тепло, зная, что мальчик, которого она искала, однажды

коснётся её раньше, чем поймёт, чьё это тепло, — потому что и сама так когда-то коснулась памяти о человеке, чьего лица никогда не видела при жизни.

. . .

Она возвращалась к этой памяти так часто, что перестала считать разы, — не потому что нуждалась в напоминании, кто такой Эн-Ра, а потому что в этом единственном мгновении было нечто, к чему хотелось возвращаться, как возвращаются к самому первому вдоху: не за новой информацией, а за подтверждением, что всё это было не зря. Что кто-то однажды рискнул заговорить в пустоту — и пустота ответила. Значит, могла ответить снова.

В тот раз она пришла, как приходила всегда, — встать на краю той же памяти, смотреть, как молодой человек, которого весь мир будет звать Первым, падает на колени под тяжестью того, что сам же впустил.

И вдруг — тень.

. . .

Не в потоке света, где разворачивалась сама сцена. Рядом с ней. На той же кромке, с которой она сама столько веков наблюдала эту память, — присутствие, тёплое, дрожащее, неуверенное в себе так же, как была неуверена когда-то она сама, впервые ступив на порог собственного Посвящения.

Она не увидела лица. Не услышала имени. Но узнала — так, как узнают не разумом, а чем-то более древним, тем самым чувством, с которым

мать узнаёт шаги ребёнка в толпе чужих шагов: рядом с ней, в этой самой памяти, которую она хранила и изучала почти тысячу лет в одиночестве, теперь стоял кто-то ещё.

Он пришёл сюда сам. Не по её тропе, не за руку, не потому что она его привела, — а потому что что-то в нём самом, возвращённое годами прикосновений к её маякам, привело его к тому же источнику, из которого она столько веков черпала всё, чем учила его, ещё не встретившись.

Ты пришёл, — подумала она, и мысль дрогнула сильнее, чем что-либо за всё её долгое ожидание. — Ты пришёл сюда сам. К самому началу. К тому же месту, откуда я строила для тебя весь путь. Значит, ты уже почти готов увидеть, где заканчивается моё.

Она не могла заговорить с ним напрямую — ещё нет, связь была слишком тонкой, слишком новой. Но впервые за долгое время она позволила себе то, в чём раньше отказывала себе как в непозволительной роскоши.

Она позволила себе надеяться не тихо, а всем, что у неё осталось.

. . .

После этого дня она стала возвращаться к памяти Эн-Ра ещё чаще, чем прежде, — но уже не только как исследователь, ищущий принцип для следующего шага тропы.

Она возвращалась в надежде снова застать рядом ту же тень. Иногда заставала. Иногда — нет, и тогда тишина на краю памяти казалась ей глубже, чем когда-либо, той самой тишиной, что

предшествует не ответу, а угасанию, которого она теперь боялась больше, чем когда-либо за все века своего ожидания, потому что впервые за всю свою бесконечную работу ей было что терять.

Но она не переставала возвращаться. Потому что теперь знала твёрдо, вернее, чем знала когда-либо прежде: источник, из которого она строила его путь всю свою долгую работу, — он тоже нашёл сам. Значит, тропа вела верно.

Значит, оставалось немного.

Тысяча лет тишины

ГЛАВА 8. КНИГА ЛИРЫ

Никто не предупредил её, каким долгим окажется само ожидание — не работа, не создание троп, а именно ожидание, пустое пространство между одним действием и следующим, в котором не остаётся ничего, кроме собственных мыслей и тишины, готовой обернуться чем угодно, если вслушиваться в неё достаточно долго и достаточно одиноко.

Работа заполняла века. Ожидание заполняло собой всё остальное.

. . .

Первое столетие она провела почти спокойно — той спокойной устойчивостью, что даётся человеку, у которого впереди ещё непредставимо много времени. Она вплетала тропы в мир за миром, возвращалась к памяти Эн-Ра, разбирала её на уроки, встраивала уроки в камень. Тень, замеченная ею однажды в тишине выжженного мира, то появлялась отчётливее, то пропадала совсем, и она училась не пугаться этих исчезновений — так же, как когда-то, ребёнком, училась не пугаться темноты на краю комнаты.

Второе столетие было труднее. Не потому, что работа стала тяжелее, — потому что она начала считать. Не годы — это она умела делать без усилия, время в Мерцании не путается. Она начала считать то, чего никогда не считала прежде: сколько ещё у неё остаётся до предела собственного Часа, и сколько из этого предела уже

прошло без единого подтверждения, что тень, ради которой она работала, вообще станет чем-то большим, чем тень.

К третьему столетию она поняла: считать — это яд, который она наливает себе сама, глоток за глотком, потому что каждый подсчёт делал недостающее время короче, а сделанное — недостаточным.

Она перестала считать. Насколько это вообще возможно для сознания, которому нечем заняться, кроме собственных мыслей.

. . .

Были ночи — если ночь вообще было верное слово для того, чем измерялось время в Мерцании, — когда сомнение накатывало не тихо, а разом, всей своей тяжестью, и она позволяла себе на короткий миг задать вопрос, который старательно избегала все остальное время.

А если его не будет?

Не «если он опоздает» — с опозданием она уже почти смирилась, зная, что тропа требует времени, а время не спешит ради чьих-то надежд. *Если его не будет вовсе.* Если мир, который она выбрала, — тот самый, выжженный, бедный, показавшийся ей единственным местом, способным родить настоящий голод, — просто не произведёт того, кого она ищет, потому что голод убивает раньше, чем успевает чему-то научить. Если тень, замеченная ею однажды, была лишь совпадением, игрой уставшего сознания, обманувшего себя необходимостью найти хоть что-то, за что можно держаться.

Она вспоминала тогда Зеркало Будущего, показанное ей в день Посвящения, — три картины, из которых она выбрала третью не полностью, а лишь как направление. Что, если направление вело в никуда? Что, если она однажды просто истончится, как истончались Мерцания менее упрямых, менее одержимых Архитекторов до неё, — не встретив никого, потратив тысячу лет на голос, который никогда не ответит?

В такие мгновения она не звала его. Каждый раз, когда искушение подступало вплотную — крикнуть напрямую, всей оставшейся силой, наплевав на весь урок, вынесенный ею из памяти Эн-Ра, наплевав на то, что прямой зов не долетает до мира без слуха, — она заставляла себя вспомнить: один отчаянный крик, брошенный не по правилам, которые она сама вывела ценой веков проб и ошибок, не приблизит его. Он лишь потратит то немного, что у неё ещё оставалось, впустую, оставив тропу недостроенной как раз тогда, когда он мог бы почти дойти до её конца.

Она сжимала — если у света, которым она была, вообще можно было сжать что-то, — и ждала дальше.

. . .

Ближе к концу её собственного Часа, когда по всем меркам, известным ей из истории Архитекторов до неё, оставалось не больше нескольких лет, тень, которую она так долго оберегала, начала подавать первые, едва различимые признаки жизни.

Она чувствовала прикосновения к камню в тёмной трещине руин — слабые, детские, полные

страха и всё же не отступающие. Чувствовала, как теплеет восьмая статуя в Саду Камней под чьей-то ладонью. Чувствовала отклик из-под завала Гробницы Первых.

И всё равно — этого было мало.

Каждое прикосновение было доказательством, что кто-то есть, что тропа находит своего путника. Но ни одно из них ещё не было тем, ради чего она работала тысячу лет: не откликом, а ответом. Ребёнок, касавшийся её камней, мог быть просто ребёнком, случайно забредшим туда, куда не следовало, — испуганным, любопытным, но не обязательно тем самым голосом, способным однажды заговорить с ней напрямую.

Она считала снова, хоть и обещала себе не считать. По её собственным меркам, по тому пределу, что чувствовала в собственном истончающемся полотне, оставалось не больше нескольких лет — а у неё было только это: слабые, детские прикосновения, недостаточные, чтобы быть уверенной, недостаточные, чтобы совсем отпустить страх.

. . .

Это было ближе всего она когда-либо подходила к отчаянию за всю тысячу лет своего Мерцания — не в первые тёмные века неуверенности, а именно теперь, на самом краю, когда времени почти не осталось, а доказательства всё ещё оставались слишком хрупкими, чтобы на них можно было опереться всем весом надежды.

Может быть, этого недостаточно, — думала она в те немногие годы, что, как ей казалось, у неё

ещё оставались. — *Может быть, я успела вырастить в нём только страх, а не голос. Может быть, я истончусь раньше, чем он научится говорить, и всё, что от меня останется, — тропа без того, кто по ней однажды дойдёт до конца.*

Она не позволяла себе оставаться в этой мысли долго. Каждый раз, поймав себя на ней, она возвращалась к работе — не потому что отчаяние прошло, а потому что работа была единственным, что она ещё могла предложить взамен уверенности, которой у неё не было.

. . .

А потом — не рывком, не сразу, но так, что она узнала перемену сразу, всем тем, чем ещё оставалась, — тень пришла туда, куда прежде не приходила. К месту, которым сама пугала себя больше всего остального мира, — к Храму Без Голоса, туда, где тишина была настолько полной, что ломала слабые сердца быстрее, чем позволяла им слышать хоть что-то.

Тень вошла. И не вышла прежней.

В ту ночь, впервые за девятьсот девяносто девять лет, её собственный, давно смилившийся с угасанием свет не потускнел, как гас каждую ночь до этой. Он задрожал — так, как дрожит пламя свечи, когда сквозняк доносит из-за закрытой двери едва уловимый, но безошибочный запах чужого, живого огня.

Она не знала ещё, сколько времени у неё остаётся на самом деле. Не знала, хватит ли его на то, чтобы дождаться настоящего ответа, а не только доказательства, что путник существует.

Но впервые за долгие века отчаяние отступило настолько, чтобы освободить место для того, чему она не сразу решилась дать имя.

Ещё немного, — подумала она.

Пожалуйста. Ещё немного.

Храм Без Голоса

ГЛАВА 9. КНИГА ЛИРЫ

Всё, что она создавала прежде, было сделано из присутствия.

Камень Ответа. Шпиль. Статуи Сада — каждая вылеплена не из вещества, а из частицы её самой, вложенной так, чтобы нашедший почувствовал не пустоту, а тепло чужой ладони, снятой с его руки за миг до прикосновения. Это давалось ей тяжело, но давалось знакомым образом: она умела быть присутствием. Училась этому с рождения, задолго до того, как узнала слово «Архитектор».

Храм потребовал другого. Он потребовал, чтобы она впервые за всю свою долгую работу построила не присутствие, а его точную противоположность — и научиться этому оказалось труднее всего, что она делала прежде или после.

. . .

Она поняла, зачем это нужно, задолго до того, как поняла, как это сделать.

Мальчик, которого она ждала, рос в мире, где каждое мгновение было занято чужими голосами — страхом старейшин, заботой матери, скрипом песка под чужими шагами, звоном ведра у колодца. Даже тишина его пустыни не была настоящей тишиной: она была полна ветра, дальних криков, шёпота, которым сам мир заполнял собой любую паузу. Он никогда, ни разу за свою короткую жизнь, не оказывался по-

настоящему один на один с собой — с той частью себя, что не откликается ни на что внешнее, потому что ей нечего сказать никому, кроме того, кто готов слушать её всерьёз.

Она сама выросла с этим умением, хоть и другим путём: годы ученичества у голоса без тела приучили её тянуться в тишину и не бояться, что тишина ничего не ответит. Но у неё был наставник, пусть и без тела, — присутствие, пусть и едва уловимое, на другом краю каждой такой тишины. У мальчика не будет и этого. Ему предстояло научиться тому же самому, но совершенно одному, без единого голоса, который прервал бы молчание раньше, чем оно даст свой единственный, настоящий плод.

Значит, ей нужно было построить не маяк, зовущий вперёд. Ей нужно было построить комнату, в которой не звучало бы вообще ничего — ни её собственного присутствия, ни отголоска мира снаружи, — комнату, честную настолько, что в ней невозможно было бы спрятаться даже от самого себя.

. . .

Она начала пробовать — и первые попытки, как и с тропой много веков назад, вышли неверными.

Первая версия оказалась слишком мягкой: она невольно вложила в стены отголосок собственного тепла, привычка, въевшаяся за годы работы с присутствием, — и комната, вместо того чтобы стать настоящей пустотой, обернулась ещё одним местом, где чувствовалась она сама, пусть слабо, пусть на самом краю восприятия. Это было не то.

Мальчик должен был встретить не её. Он должен был встретить себя.

Она разрушила эту версию и начала заново, на этот раз намеренно вычищая из работы всё, что напоминало бы вложение присутствия. Вторая версия вышла настолько пустой, что сама пугала — не тем страхом, что подталкивает к росту, а тем, что заставляет бежать без оглядки, не дав себе шанса остаться и прислушаться. Она поняла: абсолютная пустота так же бесполезна, как чрезмерное тепло. Нужна была не пустота вообще, а пустота, устроенная так, чтобы у того, кто в неё войдёт, оставался ровно один выход — не наружу, а внутрь, к собственному голосу, потому что снаружи не было бы ничего, за что можно было бы удержаться вместо этого пути.

. . .

Материал, который она в итоге выбрала — камень, не отражающий свет, а топящий его в себе, — стоил ей больше сил, чем любой другой артефакт за всю тысячу лет. Присутствие вкладывать было тяжело, но естественно, как вкладывать в ребёнка любовь. Отсутствие — построенное так тонко, чтобы оно не превратилось ни в жестокость, ни в пустой обман, — требовало держать в себе одновременно две противоположные вещи: заботу настолько глубокую, чтобы место было безопасным, и сдержанность настолько полную, чтобы забота ни на миг не проступила наружу и не облегчила того, что должно было остаться тяжёлым.

Она вложила в стены не тепло. Она вложила терпение — своё собственное, то самое, которому училась годами тянуться в молчание, не получая

ответа. Не как утешение для того, кто войдёт. Как пример, вплетённый настолько глубоко, что его невозможно было бы почувствовать напрямую, — лишь довериться тому, что комната каким-то образом умеет ждать так же долго, как способен ждать тот, кто её построил.

. . .

Когда работа была закончена, она долго не решалась назвать её сделанной.

Не потому что сомневалась в результате — испытала бы сомнение, будь оно уместно, скорее с облегчением, чем со страхом. Она медлила, потому что понимала: это последняя большая работа, которую она сможет себе позволить. После Храма у неё оставалось слишком мало сил для нового творения такого масштаба — не потому что она истратила их бездумно, а потому что каждый акт творения в Мерцании стоит части самого Мерцания, а она израсходовала на этот, самый трудный из всех, больше, чем на любой другой прежде.

Дальше оставалось только ждать. И, если получится дожждаться, — встретить его тем немногим, что останется, когда всё остальное будет уже отдано.

Она приняла это не как потерю. Как завершение работы, которую и задумывала завершить именно так: не сохранить как можно больше себя про запас, а отдать ровно столько, сколько нужно, чтобы тот, кто придёт после, получил не осколки, а нечто целое, способное выдержать его вес.

. . .

Она не узнает, каким мальчик войдёт в эту комнату в первый раз — испуганным, любопытным, ищущим спасения от собственных снов. Не узнает сразу, что он придёт туда не единожды, а дважды: первый раз — гонимый голосом, которого сам не понимает, второй — уже сам, осознанно, зная, зачем идёт.

Она узнает только эхо этих визитов — слабую дрожь, доходящую до неё через толщу расстояния, которое давно перестало поддаваться счёту, и по этой дрожи будет судить, работает ли комната так, как она задумывала, или тишина внутри окажется слишком тяжёлой даже для того, кого она так долго готовила.

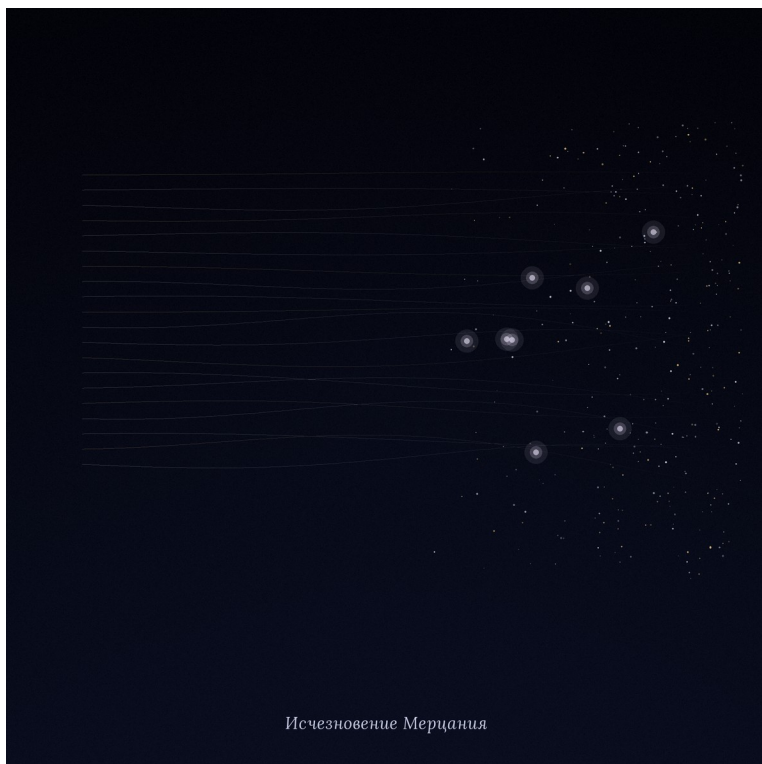
Но в тот миг, стоя — если стояние вообще было верным словом для того, чем она теперь была, — перед завершённой работой, она думала не об этом.

Она думала о комнате как о письме, которое напишет сама тишина, — единственном письме, какое она могла отправить тому, кто ещё не родился, тому, кто однажды, много лет спустя, войдёт в темноту, полную не пустоты, а терпения, и, быть может, наконец, впервые в жизни, услышит не голоса вокруг себя, а собственный.

Пусть тишина скажет то, что не смогла сказать я, — подумала она, вплетая эту последнюю мысль в самый глубокий, невидимый слой камня.

Пусть он войдёт испуганным.

Пусть выйдет услышанным.



Исчезновение Мерцания

Исчезновение Мерцания

ГЛАВА 10. КНИГА ЛИРЫ

Она начала с самого начала — с того дня, когда родилась уже знающей, кто она, — и рассказывала долго, без спешки, потому что здесь, по ту сторону последней нити, спешить было больше некуда.

Кай слушал так, как не слушал прежде ничего в своей короткой жизни, — не ушами, не памятью, а тем целым, чем он теперь был: девятью годами пустыни и жажды, и тем, что сплелось с ними теперь, — её тысячей лет ожидания, её детским страхом темноты, её злостью на вопрос «почему я», её долгими веками проб и ошибок над камнями, которые она оставляла для него, не зная его имени.

Она рассказала ему всё — не потому, что боялась забыть, а потому, что рассказать было последним, чем живое отличается от просто существующего, и она хотела, чтобы эта разница между ними стёрлась как можно позже.

Когда рассказ закончился, наступила тишина иного рода, чем все прежние тишины между ними, — не пустая, а полная, как комната, где двое наконец сказали друг другу всё, что откладывали годами.

...

— Я не понимаю одного, — сказал Кай в эту тишину, и в его мысли было не сомнение, а что-то более странное — вопрос, который сам удивлял его тем, что вообще пришёл ему в голову. — Ты

держала меня на расстоянии тысячи лет. Строила тропу через века. Но ты сама, все эти века, — ты слышала только свой Час. Как ты вообще могла быть уверена, что я приду? Что я вообще существую там, за пределом, который ты сама не могла увидеть?

Лира — если это слово по-прежнему было верным для того, чем она теперь была, — задержалась с ответом дольше, чем задерживалась когда-либо прежде за все века их безмолвной переписки через камни.

— Я не была уверена, — сказала она наконец, и в этом признании было облегчение человека, наконец сложившего с себя необходимость казаться сильнее, чем была. — Я верила. Это не то же самое, что знать. Я думала, что тысяча лет — это стена. Что дальше неё нет ничего, что я могла бы услышать, и ничего, что могло бы услышать меня. Все, кто был до меня, думали так же. Никто из нас не заходил дальше своего Часа — не потому что не пытался, а потому что даже не подозревал, что за пределом есть что искать.

— Но предел — не стена, — сказал Кай, и теперь уже он говорил медленно, подбирая слова так осторожно, как прежде подбирал шаги по спёкшемуся песку тропы. — Я видел это. Я прошёл сквозь него. Дай я покажу тебе.

. . .

Она позволила ему показать — и это было странно новым чувством, впервые за всю тысячу лет её Мерцания: не она вела, а её вели, не она учила, а её учили, — и в этой перемене не было ни унижения, ни потери, только удивление такой

чистоты, какого она не испытывала с самого детства, глядя, как в её мире каждое утро рождается свет, всегда немного иначе.

Он показал ей не образ, а само устройство того, что она всю жизнь принимала за закон. Поток, сказал он — вернее, не сказал, а вложил в неё так, как когда-то она вкладывала знание в артефакты, — не имеет границ вообще. Он всегда. Тысяча лет — не стена внутри него, а радиус слышимости: то, насколько далеко распространяется связь конкретного живого мира со своим собственным временем, пока в этом мире кто-то ещё дышит. Это не свойство Потока. Это свойство того, что значит быть живым в определённой точке огромного, безграничного вращения.

Она восемь тысяч лет — считая по общему счёту Часов, а не только по своему собственному — была частью цепи, ни одно звено которой не усомнилось в этом достаточно, чтобы спросить, правда ли предел — закон, или просто то, что никто прежде не пытался пересечь.

— Значит, я всю жизнь боялась не того, чего следовало, — сказала она, и мысль эта была настолько огромной, что ей потребовалось время, чтобы просто дать ей звучать, не пытаясь сразу уместить в меньшую форму.

— Ты боялась ровно того, чего следовало, — ответил Кай мягко. — Просто причина была не та, что ты думала.

. . .

И тогда, наконец, оба поняли то, что ни один из них не смог бы понять в одиночку.

— Мне нужно было пережить голод, — сказал Кай, — не потому что боль сама по себе что-то даёт. А потому что только голод, настоящий, телесный, научил меня хотеть услышать так, как не учит ничто другое. Твой мир не мог родить того, кто умеет тянуться дальше собственного Часа, — потому что в твоём мире никогда не было нужды тянуться так далеко ни за чем. Мне нужно было хотеть с такой силой, что сама эта сила пробила стену, которую восемь Архитекторов до меня принимали за закон.

— А мне нужно было бояться тьмы, — сказала Лира, и теперь уже она говорила медленно, находя слова по мере того, как понимание разворачивалось в ней впервые целиком. — Не для того, чтобы преодолеть страх один раз и забыть о нём. Для того, чтобы этот страх стал топливом, толкнувшим меня сделать больше, чем сделал бы кто угодно спокойный и уверенный. Я боялась, что меня не найдут — там, за краем комнаты, за краем моего Часа, за краем самого Потока, — и этот страх заставил меня выстроить тропу такой длины и такой прочности, что она достала даже туда, куда, по всем законам, которые я знала, дотянуться было невозможно.

Они замолчали снова — но эта тишина уже не была вопросом. Она была узнаванием, полным настолько, что для него не нужны были больше слова.

— Каждый Архитектор, — сказал Кай тихо, скорее для себя, чем для неё, — несёт дар не вопреки своему страху. Из него.

— Значит, и Десятый после тебя, — ответила Лира, — будет нести что-то своё. Рождённое из

того, чего ты сам ещё даже не знаешь, что боишься.

. . .

Она чувствовала, как то небольшое, что осталось от её отдельной формы — та тонкая, почти прозрачная плёнка, что отделяла «Ли́ра» от «Пото́к» с самого дня Посвящения, — истончается уже не к разрыву, а к завершению другого рода: не угасанию, а раскрытию, тому самому, что она однажды видела в третьей картине Зеркала Будущего, ещё не понимая, что видит собственный конец, который на самом деле окажется не концом.

— Ты не исчезаешь во второй раз, — сказал Кай, и в его мысли впервые не было страха, только ясность. — Ты становишься ещё полнее, чем стала в первый.

— Да, — ответила она. — Теперь я это вижу так же ясно, как видишь ты.

. . .

Наступил миг, для которого не существовало ни земного слова, ни слова её собственного, светлого мира, — миг, в котором старое Мерцание, растянутое на тысячу лет одиночества и труда, окончательно перестало быть отдельным голосом, ожидающим ответа, и стало частью того самого моря, о котором она столько раз говорила ему как о метафоре, ещё не зная, что говорит пророчество.

Она услышала — если слышать было ещё верным словом — как где-то на самом краю этого раскрытия, там, где кончалась она и начиналось всё остальное, прозвучало то единственное слово,

которым каждый Архитектор до неё передавал линию дальше, слово, которое сама она когда-то приняла из глубины, ещё стоя на Камне Ответа, юной и напуганной:

Следующий.

Она не сказала это Каю как приказ и не как благословение, слишком тяжёлое для одних плеч. Она вложила это в него так, как когда-то Ор-Ким вложил в неё саму: не заполняя его собой, а расширяя пространство, в которое он уже умел дотягиваться сам.

— Я не одна теперь, — сказала она, прежде чем граница между «сказать» и «быть» стёрлась в ней окончательно. — И ты не будешь один. Даже когда придёт твой черёд искать Десятого. Даже когда мой голос станет для тебя просто частью общего моря, а не отдельным, узнаваемым звуком. Я буду здесь. Так же, как здесь все, кто был до меня. Так же, как однажды здесь будешь ты — для того, кто придёт после.

. . .

Час Восьмой закончился не как гаснет свеча, а как раскрывается ладонь, слишком долго сжатая в кулак.

Час Девятый начался не с грома и не с вспышки, а с тишины иного рода — той, что бывает, когда после долгого, трудного пути наконец садишься у порога дома, зная, что дальше идти пока не нужно, что можно просто сидеть и слушать, как мир вокруг медленно, по-новому, начинает звучать.

Кай стоял один в пустыне, у последней точки тропы, начерченной за века до его рождения, — и уже не совсем один. Он нёс в себе голос старика, что был земляной и болью, и голос девушки, что была светом и терпением, и восемь голосов между ними, и то огромное, немое, наконец услышанное море, которое отныне принадлежало и ему.

Он не знал ещё, каким будет его собственный дар для мира, что придёт после него, — какой страх станет его топливом, какую новую способность потока откроет девятый голос в цепи, что тянется от первого шёпота в пустыне до самого горизонта галактического цикла. Знал только одно, простое, как всё самое важное, — то, что она вложила в него в последний миг их общей, растянутой на тысячу лет и один короткий разговор истории:

Он был не один.

Он никогда больше не будет один.

И где-то там, в самой глубине моря, которое было теперь его собственным домом, — своей формы, своей ясности, своей навсегда узнаваемой, хотя и растворённой в целом ноты — Лира слушала, как начинается новый Час.

Не с гаснущим сердцем, как боялась когда-то давно, ещё живой, ещё не знающей, кем ей предстоит стать.

С тем самым облегчением, с каким наконец складывают ношу, которую несли слишком долго, — потому что нашлись руки, готовые понести её дальше.